

Л. Н. Толстой

**Избранные дневники
1895-1910 гг.**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Т52

Т52 **Толстой Л.Н.**
Избранные дневники 1895-1910 гг. / Л. Н. Толстой – М.: Книга по Требованию,
2021. – 378 с.

ISBN 978-5-458-03726-6

В настоящее издание включены избранные дневники Льва Николаевича Толстого за 1895-1910 гг.

ISBN 978-5-458-03726-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Л.Н. Толстой, 2021

Лев Николаевич Толстой
Собрание сочинений в
двадцати двух томах
Том 22. Избранные дневники
1895-1910

3 января 1895. Никольское. Олсуфьевы¹. Поехали, как предполагалось, 1-го. Я до последнего часа работал над «Хозяином и работником». Стало порядочно по художественности, но по содержанию еще слабо. История с фотографией очень грустная. Все они оскорблены². Я написал письмо Черткову³. Мне и перед этим нездоровилось, и поехал я нездоровый и слабый. Приехали прекрасно. На другой день и нынче ничего не делал — читал, гулял, спал. Вчера был оживленный спор о православии. Вся неясность понимания происходит оттого, что люди не признают того, что жизнь есть участие в совершенствовании себя и жизни. Быть *лучше и улучшить жизнь*. Ничего не записал за эти дни. Теперь 9-й час вечера — сонливость.

Нынче 6 января 95. Никольское. Я совсем здоров и начал опять работать над «Катехизисом»⁴: вчера и нынче. Очень занимает и очень близко, но все не нахожу формы и недоволен. Третьего дня вечером читал свой рассказ⁵. Нехорошо. Нет характера ни того, ни другого. Теперь знаю, что сделать. Два раза спорил с Дмитрием Адамовичем. Он пристроил себе практическое в славянофильском духе служение народу, то есть пуховик, на котором лежать, не работать. Все дело в том, что они признают жизнь неподвижную, а не текущую. Что-то очень важное думал вчера и забыл. Михаил Адамович явно боится Тани. И очень жаль. А она худа и бледна. Получил много приятных писем: от Kenworthy, от Сергеевко и Stadling'a. Думал.

Служба, торговля, хозяйство, даже филантропия не совпадают с делом жизни: служением царству божию, то есть содействию вечному прогрессу.

Жизнь истинная — в движении вперед, в улучшении себя и улучшении жизни мира через улучшение других людей. Все, что не ведет к этому, не жизнь, тем более то, что препятствует этому. Теперь 6 часов вечера. Пойду походить и на елку. Нынче был в больнице и присутствовал при операции.

29 января 95. Москва. Больше трех недель не писал. Хорошо прожил у Олсуфьевых. Больше всего был занят рассказом. И все еще не кончил, хотя он в корректурах. Событие важное, которое, боюсь, для меня не останется без последствий, это дерзкая речь государя. Были на собрании Шаховского. Напрасно были. Все глупо, и очевидно, что организация только парализует силы частных людей⁶. Здесь тоже поправил по корректурам. Хорошие письма⁷ и статьи о «Патриотизме и христианстве». Кое-что записано, но теперь некогда, постараюсь записать вечером.

Нынче 7 февраля — утро 11 часов. Москва. 95. Не только не успел записать в тот же день вечером, но вот прошло больше недели. За это время написал маленькое предисловие к биографии Дрожжина⁸ и продолжал поправлять рассказ. Несчастный рассказ. Он был причиной вчера разразившейся страшной бури со стороны Сони. Она была нездорова, ослабла, измучилась после болезни милого Ванечки, и я был нездоров последние дни. Началось с того, что она начала переписывать с корректуры. Когда я спросил зачем...⁹

Помоги не отходить от тебя, не забывать, кто я, что и зачем я? Помоги.

Думал за это время:

1) Сумасшествие это эгоизм, или наоборот: эгоизм, т. е. жизнь для себя, для

одной своей личности, есть сумасшествие. (Хочется сказать, что другого сумасшествия нет, но еще не знаю, правда ли.) Человек так сотворен, что он не может жить один, так же как не могут жить одни пчелы; в него вложена потребность служения другим. Если вложена, т. е. естественна ему потребность служения, то вложена и естественна потребность быть услуживаемым, être servi. Если человек лишится второй, т. е. потребности пользоваться услугами людей, он сумасшедший, паралич мозга, меланхолия; если он лишится первой потребности — служить другим, он сумасшедший всех самых разнообразных сортов сумасшествий, из которых самый характерный мания величия.

Самое большое количество сумасшедших это сумасшедшие второго рода — те, которые лишились потребности служить другим — сумасшествие эгоизма, как я это и сказал сначала. [...] Такие сумасшедшие: все составители богатств, честолюбцы гражданские и военные.

[...] 4) Положение просвещенного истинным братолюбивым просвещением большинства людей, подавленных теперь обманом и хитростью насильников, заставляющих это большинство самим губить свою жизнь, положение это ужасно и кажется безвыходным. Представляются только два выхода, и оба закрыты: один в том, чтобы насилие разорвать насилием, террором, динамитными бомбами, кинжалами, как делали это наши нигилисты и анархисты, вне нас разбить этот заговор правительств против народов; или вступить в согласие с правительством, делая уступки ему, и, участвуя в нем, понемногу распутывать ту сеть, которая связывает народ и освобождает его. Оба выхода закрыты.

Динамит и кинжал, как нам показывает опыт, вызывают только реакцию, нарушают самую драгоценную силу, единственную, находящуюся в нашей власти — общественное мнение; другой выход закрыт тем, что правительства уже извели, насколько можно допускать участие людей, желающих преобразовать его. Они допускают только то, что не нарушает существенного, и очень чутки насчет того, что для них вредно, чутки потому, что дело касается их существования. Допускают же они людей, несогласных с ними и желающих преобразовать правительства, не только для того, чтобы удовлетворить требованию этих людей, но для себя, для правительства. Правительствам опасны эти люди, если бы они оставались вне правительств и восставали бы против них, усиливали бы единственное сильнейшее правительств орудие — общественное мнение, — и потому им нужно обезопасить этих людей, привлечь их к себе посредством уступок, сделанных правительством, обезвредить их вроде культуры микробов — и потом их же употреблять на служение целям правительств, то есть угнетение и эксплуатирование народа.

Оба выхода плотно и непробивно закрыты. Что же остается? Насилием разорвать нельзя — увеличиваешь реакцию; вступать в ряды правительств тоже нельзя, становишься орудием правительства. Остается одно: бороться с правительством орудием мысли, слова, поступков жизни, не делая ему уступок, не вступая в его ряды, не увеличивая собой его силу. Это одно нужно и, наверно, будет успешно. [...]

15 февраля 1895. Бог помог мне; помог тем, что хотя слабо, но проявился во мне любовью, любовью к тем, которые делают нам зло. То есть единственной истинной любовью. И стоило только проявиться этому чувству, как сначала оно покорило, загло меня, а потом и близких мне, и все прошло, то есть прошло

страдание.

Следующие дни было хуже. Она положительно близка была и к сумасшествию, и к самоубийству. Дети ходили, ездили за ней и возвращали ее домой. Она страдала ужасно. Это был бес ревности, безумной, ни на чем не основанной ревности. Стоило мне полюбить ее опять, и я понял ее мотивы, а поняв ее мотивы, не то что простил ее, а сделалось то, что нечего было прощать. Послал вчера в «Северный вестник», и здесь печатают у ней и в «Посреднике»¹⁰. Я написал и отдал три притчи¹¹.

15 февраля 1895. Москва. Утро, встал усталый и не мог ничего работать. Приходил Иван Иванович и Гольцев. Я отказал подписать петицию о законности в печати¹².

Нынче, кажется, *21 февраля 1895. Москва.* Эти пять дней поправлял притчи, поправлял «Хозяина и работника» и обдумывал, не могу сказать, что писал «Катехизис». Здоровье Сони совсем установилось.

[...] Событие, за это время сильно поразившее меня, это пьянство и буйство петербургских студентов¹³. Это ужасно. [...] Еще событие: отказ Шкарвана¹⁴, требование присяги без клятвы от Алехина и других в Нальчике, штраф Поши, как мне кажется, начинающееся прямое столкновение с правительством. Очень хочется написать об этом, и несколько раз ясно представлялось. Ясно представлялось, как описать ложь, среди которой мы живем, чем она поддерживается, и тут же включить то простое мирозерцание, которое я выражаю в «Катехизисе».

Думал:

[...] 4) Еще в это время в разговоре с юношей Горюшиным, приятелем Павла Петровича, уяснилось о том, о чем не переставая думаю, — о государстве: мы дожили до того, что человек просто добрый и разумный не может быть участником государства, то есть быть солидарным, не говорю про нашу Россию, но быть солидарным в Англии с землевладением, эксплуатацией фабрикантов, капиталистов, с порядками в Индии — сечением, с торговлей опиумом, с истреблением народностей в Африке, с приготовлениями войн и войнами. И точка опоры, при которой человек говорит: я не знаю, что и как государство, и не хочу знать, но знаю, что я не могу жить противно совести, — эта точка зрения непоколебима, и на этой должны стоять люди нашего времени, чтобы двигать вперед жизнь. Я знаю, что мне велит совесть, а вы, люди, занятые государством, устраивайте, как вы хотите, государство так, чтобы оно было соответственно требованиям совести людей нашего времени. А между тем люди бросают эту непоколебимую точку опоры и становятся на точку зрения исправления, улучшения государственных форм и этим теряют свою точку опоры, признавая необходимость государства, и потому сходят с своей непоколебимой точки зрения. Неясно, но я думаю, что напишу на эту тему. Очень мне кажется важно. [...]

Нынче 26 — ночь. 1895. Москва. Похоронили Ванечку¹⁵. Ужасное — нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, отец. Благодарю тебя.

Нынче 12 марта 95. Москва. Так много перечувствовано, передумано, пережито за это время, что не знаю, что писать. Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки, нет, в гораздо большей степени, проявление бога, привлечение к нему. И потому не только не могу сказать, чтобы это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) — не радостное, это дурное

слово, но милосердное от бога, распутывающее ложь жизни, приближающее к нему событие.

Соня не может так смотреть на это. Для нее боль, почти физическая — разрыва, скрывает духовную важность события. Но она поразила меня. Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу. Она поражала меня первые дни своей удивительной любовью: все, что только чем-нибудь нарушало любовь, что было осуждением кого-нибудь, чего-нибудь, даже недоброжелательством, все это оскорбляло, заставляло страдать ее, заставляло болезненно сжиматься обнажившийся росток любви. Но время проходит, и росток этот закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение, vent в всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может отделить одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою. Не может ясно понять, почувствовать, что одно из двух: или смерть, висящая над всеми нами, властна над нами и может разлучать нас и лишать нас блага любви, или смерти нет, а есть ряд изменений, совершающихся со всеми нами, в числе которых одно из самых значительных есть смерть, и что изменения эти совершаются над всеми нами, — различно сочетаясь — одни прежде, другие после, — как волны.

Я стараюсь помочь ей, но вижу, что до сих пор не помог ей. Но я люблю ее, и мне тяжело и хорошо быть с ней. Она еще физически слаба. [...] Таня, бедная и милая, тоже очень слаба. Все мы очень близки друг к другу, как Д. хорошо сказал: как, когда выбыл один листок, скорее и теснее сбиваются остальные. Я чувствую себя очень физически слабым, ничего не могу писать. Немного работал над «Катехизисом». Но только обдумывал. Написал письмо Шмиту с программой международного «Посредника»¹⁶. За это время вышел «Хозяин и работник», и слышу со всех сторон похвалы, а мне не нравится, и несмотря на то, чувство мелкого тщеславного удовлетворения.

Нынче захотелось писать художественное. Вспоминал, что да что у меня не кончено. Хорошо бы все закончить, именно:

1) Коневская¹⁷. 2) «Кто прав». 3) «Отец Сергий». 4) «Дьявол в аду»¹⁸. 5) «Купон»¹⁹. 6) «Записки матери»²⁰. 7) «Александр Ё»²¹. 8) Драма²². 9) «Переселенцы и башкиры»²³. Рядом с этим кончать «Катехизис». И тут же, затеяв все это — работы лет на восемь по крайней мере, завтра умереть. И это хорошо.

За это время думал:

[...] 3) Смерть детей с объективной точки зрения: природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка. Но это объективное дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело божие: установление царства божия через увеличение любви — больше, чем многие, прожившие полвека и больше.

[...] 6) Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я.

[...] 8) Несколько дней после смерти Ванечки, когда во мне стала ослабевать

любовь (то, что дал мне через Ванечкину жизнь и смерть бог, никогда не уничтожится), я думал, что хорошо поддерживать в себе любовь тем, чтобы во всех людях видеть детей — представлять их себе такими, какими они были [в] 7 лет. Я могу делать это. И это хорошо.

9) Радость жизни без соблазна есть предмет искусства.

10) С особенной новой силой понял, что жизнь моя и всех только служение, а не имеет цели в самой себе.

11) Читал дурную статью Соловьева против непротivления²⁴. Во всяком нравственном практическом предписании есть возможность противоречия этого предписания с другим предписанием, вытекающим из той же основы. Воздержание: что же, не есть и сделаться неспособным служить людям? Не убивать животных, что же, дать им съесть себя? Не пить вина. Что ж, не причащаться, не лечиться вином? Не противиться злу насилем. Что же, дать убить человеку самого себя и других?

Отыскивание этих противоречий показывает только то, что человек, занятый этим, хочет не следовать нравственному правилу. Все та же история: из-за одного человека, которому нужно лечиться вином, не противиться пьянству. Из-за одного воображаемого насильника — убивать, казнить, заточать.

Теперь 12 дня. [...]

Нынче 18. Утро. Прошло пять дней. Ничего не делал. По утрам думал над «Катехизисом». Один раз немного пописал к «Отцу Сергию», но не хорошо. Маша уехала к Илье. Соня переходит с тяжелым страданием на новую ступень жизни. Помогите ей, господа. Все это время болит голова и большая слабость. По вечерам было много посетителей. И мне очень тяжело с ними.

Писательство, особенно художественное, прямо нравственно вредно мне. И я, когда я писал «Хозяина и работника», поддавался желанию славы. И те похвалы и успех служат верным показателем того, что это было дурное дело. Нынче я как будто немного нравственно проснулся. Началось это пробуждение уже дня два тому назад. [...]

Сегодня 27 марта 1895. Москва. Написал или, скорее, исправил письма Шмиту и Кенворти за это время и кое-кому еще. И, кроме этого, к стыду моему, ничего не делал. Письма к Кенворти и Шмиту с затеей европейского издания мне не нравятся. Как будто в глубине души голос говорит, что это нехорошо. И я думаю, что нехорошо. Ничего не писал; не доволен собою. Любовь божия не покидает меня.

Мне с Сережей хорошо и легко. И не помню недоброго чувства к кому бы то ни было за все это время. Так как я не слышу всех осуждений, а слышу одни похвалы за «Хозяина и работника», то мне представляется большой шум и вспоминается анекдот о проповеднике, который на взрыв рукоплесканий, покрывших одну его фразу, остановился и спросил: или я сказал какую-нибудь глупость? Я чувствую то же и знаю, что я сделал глупость: занявшись художественной обработкой пустого рассказа. Самая же мысль не ясна и вымученна — не проста. Рассказ плохой. И мне хотелось бы написать на него анонимную критику, если бы был досуг и это не было бы заботой о том, что не стоит того.

За это время был в тюрьме у Изюмченки²⁵ и в больнице у Хохлова. Изюмченко очень прост и бодр. Хохлов жалок очень. Тоже надо бы написать о жестокости этого насилия. Соня все так же страдает и не может подняться на религиозную

высоту. Должно быть, страдание это нужно ей и делает в ней свою работу. Жаль ее. Но верю, что так надо.

[...] Вчера думал о завещании Лескова²⁶ и подумал, что мне нужно написать такое же. Я все откладываю, как будто еще далеко, а оно во всяком случае близко. Это хорошо и нужно не только потому, что избавляет близких от сомнений и колебаний, как поступить с трупом, но и потому, что голос из-за гроба бывает особенно слышен. И хорошо сказать, если есть что, близким и всем в эти первые минуты.

Мое завещание приблизительно было бы такое. Пока я не написал другого, оно вполне такое.

1) Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпеванья. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще.

2) В газетах о смерти не печатать и некрологов не писать.

3) Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову В. Г., Страхову, <и дочерям Тане и Маше> (что замарано, то замарал сам. Дочерям не надо этим заниматься), тем из этих лиц, которые будут живы. Сыновей своих я исключаю из этого поручения не потому, что я не любил их (я, слава богу, в последнее время все больше и больше любил их), и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить. Дневники мои прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить, точно так же и в дневниках моей женатой жизни прошу уничтожить все то, обнаружение чего могло бы быть неприятно кому-нибудь. Чертков обещал мне еще при жизни моей сделать это. И при его незаслуженной мною большой любви ко мне и большой нравственной чуткости, я уверен, что он сделает это прекрасно. Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь: жизнь моя была обычная дрянная, с мирской точки зрения, жизнь беспринципных молодых людей, — но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучало меня сознанием греха, производят ложно одностороннее впечатление и представляют...

А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить его.

Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не все, а то только, что может быть полезно людям.

Все это пишу я не потому, чтобы приписывал большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперед знаю, что в первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них и приписывать им важность. Если уже это так сделалось, то пускай мои писанья не будут служить во вред людям.

4) Право на издание моих сочинений прежних: десяти томов и азбуки прошу моих наследников передать обществу, то есть отказаться от авторского права. Но

только прошу об этом и никак не завещаю. Сделаете это — хорошо. Хорошо будет это и для вас, не сделаете — это ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние десять лет, было самым тяжелым для меня делом в жизни.

5) Еще и главное прошу всех и близких и дальних не хвалить меня (я знаю, что это будет делать, потому что делали и при жизни самым нехорошим образом), а если уж хотят заниматься моими писаниями, то вникнуть в те места из них, в которых, я знаю, говорила через меня божья сила, и воспользоваться ими для своей жизни. У меня были времена, когда я чувствовал, что становился проводником воли божьей. Часто я был так нечист, так исполнен страстями личными, что свет этой истины затемнялся моей темнотой, но все-таки иногда эта истина проходила через меня, и это были счастливейшие минуты моей жизни. Дай бог, чтобы прохождение их через меня не осквернило этих истин, чтобы люди, несмотря на тот мелкий нечистый характер, который они получили от меня, могли бы питаться ими.

В этом только значение моих писаний. И потому меня можно только бранить за них, а никак не хвалить. Вот и все. Думал за это время:

[...] 8) Я часто сознаю в себе ослабление стремления к совершенству. Происходит это от двух причин: оттого, что точно ослабеваешь, и оттого, что достиг того, к чему стремился, и стремление останавливается на время, как когда ступишь на ступень и заносишь ногу на другую.

9) Наследственность царей доказывает то, что нам не нужны их достоинства.

[...] 12) Один из главных соблазнов, едва ли не основной, это представление о том, что мир стоит, тогда как и мы и он, не переставая, движемся, течем.

[...] 16) Безумие наследственности властителей подобно тому, чтобы вручить управление кораблем сыну или внучатному племяннику хорошего капитана. [...]

Нынче 6 апреля 1895. Москва. Ни посещений, ни писем особенно интересных не было. Нешто два молодые крестьянина: один звенигородский, другой нижегородский. Они встретились у меня с Колосниковым (он очень хороший) и увезли его к себе беседовать. Начал лечение у Синицына и не знаю, хорошо ли или дурно делаю. Нет, знаю — дурно. Но, живя в городе и в семье, трудно воздержаться. Очень тягочусь дурной, праздной, городской роскошной жизнью. Я думаю быть полезным Соне в ее слабости. Но непростительно, что я не пишу, если уже больше этого ничего не могу делать.

Одно оправдание, что я физически все это время очень слаб. Постарел на десять лет. Любовное настроение ослабевает. Но, слава богу, я еще не выступил из состояния общей любви. И мне в этом отношении хорошо. Насколько может быть хорошо паразиту, сознающему свой паразитизм. За это время написал несколько писем, одно Венгеру с предисловием к Бондареву²⁷, и прочел прекрасную Birthdaybook Рёскина и отметил²⁸.

Думал за это время:

[...] 12) Очень легко знать, что добро и что зло само по себе, но очень трудно решить это для людей, запутавшихся в добре и зле.

13) Наибольшее число страданий, вытекающих из общения мужчин и женщин, происходит от совершенного непонимания одного пола другим. Редкий мужчина понимает, что значат для женщины дети, какое место они занимают в их жизни, и еще более редкая женщина понимает, что значит для мужчины долг

чести, долг общественный, долг религиозный.

14) Один из самых трудных переходов — это переход от жизни хорошенькой к жизни хорошей. [...]

10 апреля 1895. Москва. Все это время — всю святую — продолжаю быть в необыкновенной слабости: ничего не делаю, мало думаю: так только среди мрака и тумана вдруг изредка выплывают островки мысли и оттого, вероятно, кажутся особенно важными. Соня все больна. Было поправилась и, к сожалению, стала входить в прежний раздражительный и властный тон — мне так жалко было видеть утрату того любящего настроения, которое проявилось после смерти Ванечки, но третьего дня началась головная боль и опять жар, хотя и небольшой, но сильная апатия, слабость. Помогите мне, отец, делать и чувствовать то, что должно.

Вчера ходил по улицам и смотрел на лица: редкое не отравленное алкоголем, никотином и сифилисом лицо. Ужасно жалко и обидно бессилие, когда так ясно спасение. Бараны прыгают в воду, а ты стоишь отмахиваешь, а они все так же прыгают, и представляется, что они-то делают дело, а ты мешаешь им. Ужасно задирает меня написать об отношении общества к царю, объяснив это ложью перед старым²⁹, но болезнь и слабость Сони задерживает.

Думал за это время:

1) Естественный ход жизни такой: сначала человек ребенком, юношей только действует, потом, действуя, ошибаясь, приобретая опытность, познает и потом уже, когда он узнал главное, что может знать человек, узнал, что добро, начинает любить это добро: действовать, познавать, любить. Дальнейшая жизнь (также и наша теперешняя жизнь, которая есть продолжение предшествовавшей) есть прежде деятельность во имя того, что любишь, потом познание нового, достойного любви и, наконец, любовь к этому новому, достойному любви. В этом круговорот всей жизни.

2) Человек считается опозоренным, если его били, если он обличен в воровстве, в драке, в неплатеже карточного долга и т. п., но если он подписал смертный приговор, участвовал в исполнении казни, читал чужие письма, разлучал отцов и супругов с семьями, отбирал последние средства, сажал в тюрьму. А ведь это хуже. Когда же это будет? Скоро. А когда это будет, конец насильственному строю. [...]

Сегодня 14 апреля 95. Москва. Еще думал: Продолжаю быть праздным и дурным. Нет ни мыслей, ни чувств. Спячка душевная. И если проявляются, то самые низкие, эгоистические чувства: велосипед, свобода от семейной связи и т. п. Устал ли я от пережитого в последнее время, или пережил ступень возраста, вступив в давно желанный мною старческий, чистый возраст? не знаю, но сплю. По утрам даже не читаю, а делаю пасьянсы. Здоровье Сони не улучшается, скорее ухудшается.

[...] Думал за это время:

1) Шел подле Александровского сада и вдруг с удивительной ясностью и восторгом представил себе роман — как наш брат образованный бежал с переселенцами от жены и увез с кормилицей сына. Жил чистою, рабочею жизнью и там воспитал его. И как сын поехал к выписавшей его матери, живущей вовсю роскошной, развратной, господской жизнью. Удивительно хорошо мог бы написать. По крайней мере, так показалось.